УДК 821.161.1(091)”19”

Е. Р. Пономарев

Путешествие в царство Кощея: Англия и Америка в советской путевой литературе 1920–1930-х гг. Часть 1

Соединенные Штаты Америки вплоть до конца 1930-х гг. воспринимались в советской литературе не только как страна технических новинок и пионерской психологии, но и как оплот капиталистического зла. В этой функции описания Англии практически совпадают с литературным восприятием Америки. Статья рассматривает четыре самых знаменитых текста довоенных советских путешествий в Америку (С. Есенин, В. Маяковский, Б. Пильняк, И. Ильф и Е. Петров), добавляя к ним менее известные очерки не только о США, но и об Англии на фоне метафорического ряда, восходящего к традициям древнерусских «хождений».

Ключевые слова: США, Англия, советский писатель, путешествие, травелог, С. Есенин, В. Маяковский, Б. Пильняк, И. Ильф, Е. Петров

Evgeny R. Ponomarev

Travelling to Koshey’s Kingdom. England and America in the Soviet travel literature of the 1920–1930’s. Part 1

Up to the end of the 1930’s the United States of America were represented in Soviet literature not only as a country of technical progress and pioneer mentality, but also as a stronghold of capitalistic evil. This function allows to compare «American» and «English» travelogues in the Soviet literary tradition. Four most famous pre-war Soviet travels to America (written by Sergey Esenin, Vladimir Mayakovsky, Boris Pilnyak, Ilya Ilf and Evgeny Petrov), added with many other sketches about America and England, are examined in the article from the viewpoint of metaphoric background, descended to old Russian culture and the tradition of ancient travels.

Keywords: USA, England, Soviet writer, travelogue, travel, Sergey Esenin, Vladimir Mayakovsky, Boris Pilnyak, Ilya Ilf, Evgeny Petrov

> Товарищи, кто теперь хочет или пытается рассуждать о судьбах Европы или мирового пролетариата без учета силы и значения Соединенных Штатов Северной Америки, тот, в известном смысле, пишет счет без хозяина. Ибо – поймем это твердо! – хозяином капиталистического человечества является Нью-Йорк и Вашингтон, как его правительственное отделение[1].
>
> Лев Троцкий

В советской литературе 1920–1930-х гг. есть несколько книг-путешествий, посвященных Соединенным Штатам. Это очерки С. А. Есенина «Железный Миргород» (1923), «Стихи об Америке» и американские очерки В. В. Маяковского (1925–1926), «американский роман» Б. Пильняка «О’кэй» (1933), «Одноэтажная Америка» И. А. Ильфа и Е. П. Петрова (1937). Немногочисленные книги профессиональных писателей дополняют сочинения «спецов», изучавших в США устройство той или иной отрасли экономики. Репрезентативными можно считать брошюры экономиста Н. Осинского, члена Президиума Госплана СССР, затем заместителя председателя ВСНХ (1920–1930-е гг.) и книгу физика Я. Г. Дорфмана «В стране рекордных чисел: очерки Америки» (1927). «Спецы» создают непрофессиональные, но те же по существу травелоги. Например, Дорфман объясняет в предисловии предмет своей книги – это «простое, наглядное изображение того, что восхищало, поражало, возмущало, волновало меня. Хотелось сделать Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон и т. д. не бесплотными кружочками на карте, а живыми и реальными человеческими муравейниками, какими я их видел и слышал»[2]. К книгам об Америке следует добавить тексты об Англии (советская геополитика 1920–1930-х гг. практически отождествляет две эти страны). Английские травелоги, как правило, создают те, кому не удалось попасть в США. Параллельно американским мы рассмотрим английские очерки Б. А. Кушнера (из книги «Сто три дня на Западе», 1928), И. Г. Эренбурга (из второго издания[3] сборника травелогов «Виза времени», 1933), отчасти сочинения В. П. Крымова, проживавшего за границей, но печатавшегося в СССР (книга «Сегодня», 1925), и Н. Н. Никитина («Сейчас на Западе», 1924).

Этот не очень обширный комплекс текстов принципиально важен в рамках пропагандист-

ской советской литературы. Несмотря на «живость и реальность» изображения, тема англо-американских травелогов очевидна: главная страна капитализма, увиденная глазами человека социализма. Это суд будущего над прошлым.

К тому же, тексты об Англии/Америке – это виртуальная победа над основным идеологическим и геополитическим врагом (не стоит забывать, что дипломатические отношения между СССР и США были установлены только в середине 1930-х гг.; дипломатические контакты СССР с Великобританией начались раньше, но между странами постоянно ощущалась напряженность – в виде нот, ультиматумов и даже временных разрывов дипломатических отношений). Л. Троцкий, посвятивший Англии и США несколько специальных речей, позднее собранных в брошюры «Куда идет Англия?» (1925) и «Европа и Америка» (1926), отмечал, что США и Великобритания – страны, в которых пролетарская революция произойдет в самую последнюю очередь[4]. В поэме В. В. Маяковского «150 000 000» (в целом не понравившейся Троцкому) эта идея развивается на художественном уровне: последний и решительный бой труда и капитала проходит в Чикаго, советский богатырь побеждает американского президента, напоминающего Калина-царя. Таково же отношение к этим двум странам и в ранней советской периодике. Англия и США, в силу непреложных законов капитализма, враждебны всему миру. Они совместными усилиями выдаивают Европу (не говоря о колониях): Германию при помощи плана Дауэса[5], Францию при помощи военных долгов – советские журналы пишут о «дауэсизации Франции»[6]. Главные страны капитализма обворовывают все человечество: из послевоенной Европы они вывозят все самое ценное. Вывоз экономических и культурных ценностей за море (за океан) напоминает, по терминологии В. Я. Проппа, сказочное «вредительство»: Кощей забирает ценность себе. Советский Союз – единственная противостоящая Англии и США геополитическая сила. Это единственное государство планеты, не подвластное доллару и фунту. Единственная европейская страна, из которой (после неудачной интервенции) ничего не вывозится.

Кроме того, Соединенные Штаты (Англия тут остается в стороне) – идеологический антипод Советской страны. Когда-то Соединенные Штаты осмыслялись как первое свободное, не отягощенное предрассудками государство планеты. Живое следствие Великой французской революции. Воплощение новейших идей. В России произошла новая революция, социалистическая. Функцию страны разума и счастья перенимает Советский Союз. Отрицание Америки становится актуальной идеологической задачей. Об этом в книге «Семиология путешествия» (2004) пишет Дэвид Скотт (David Scott). Говоря о литературных «путешествиях в будущее», он семиотически противопоставляет «реализованные утопии» американского и российского образца: «О демократии в Америке» А. де Токвиля и «Россия в 1839 г.» А. де Кюстина, «Возвращение из СССР» А. Жида и «Америка» Ж. Бодрийяра, а также «Moscou aller-retour» Ж. Деррида[7].

Александр Эткинд в книге «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах» (2001), полной ярких догадок и крайне интересных идей, высказывает, в числе прочих, мысль о том, что Америка была для Троцкого (а следовательно, и для ранней советской идеологии) образцом цивилизации будущего, горнилом нового мира. Смешивая, по сути, дореволюционное и послереволюционное восприятие США, а также геополитический аспект с аспектом идеологическим, Эткинд основывается едва ли не исключительно на фразе Троцкого из нью-йоркской главы воспоминаний «Моя жизнь»: «Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества»[8]. Далее исследователь комментирует: «Приехав в Россию, он столько раз повторял потом эти образы – кузница, перековка, – что вряд ли вспоминал о том, что они были придуманы в Нью-Йорке»[9]. Принимая текстовое время за историческое, А. Эткинд как бы играет в наивного читателя. Книга «Моя жизнь» (впервые издана в 1930 г.) написана Троцким после его высылки за пределы СССР. Резонно предположить, что взгляд автора на Америку в то время значительно изменился и по сравнению с 1917 г. (о котором идет речь в цитируемой главе), и по сравнению с началом 1920-х гг., когда он писал «Литературу и революцию». Маркированные «кузница» и «перековка», многократно употреблявшиеся Троцким-вождем и теперь повторенные Троцким-изгнанником, скорее указывают именно на поздний характер этого предложения. Задача Троцкого на момент создания «Моей жизни» – борьба со сталинским режимом, и тут Америке действительно предстоит сыграть роль в судьбах социализма и человечества. Книги Троцкого, написанные в тот период, когда он стоял у руля советского государства, предлагают иные идеологемы: Америка объективно – главный враг советского строя и социализма, Англия – ее союзник и пособник.

Отрицательное отношение к заморской (заокеанской) державе поддержано и народно-мифологическими представлениями, играющими важнейшую роль в формировании со-

ветской идеологии двадцатых. За морем лежит иной мир, чужое пространство, место обитания антиподов, людей с песьими головами. «Легендарное пространство», по терминологии С. Н. Травникова, разработанной для древнерусских хождений: оно «всегда отделено от реального или значительным расстоянием, или временем, или трудностью и опасностью пути. Легендарное пространство может быть топографически привязано к местности, но оно будет обязательно находиться за краем реального пространства»[10]. За морем находится абсолютный Запад, место абсолютной эксплуатации и абсолютного «отчуждения» человека. За морем – вход в царство Кощея Бессмертного, чахнущего над златом.

С этими установками оправляются в Англию/Америку советские путешественники. Установки поддержаны стереотипами интеллигентского сознания, вынесенными из американских очерков М. Горького и В. Г. Короленко[11], а иногда и из классической традиции XIX в.[12] Они задают весьма жесткие рамки для текста-отчета, который необходимо должен быть написан по результатам путешествия. По сути, путешественникам заранее дан общий план поездки и сочинения о ней: сначала крупные города, механизация производства и быта – затем провинция, ее убожество и бездуховность. По этой причине, несмотря на то, что советские путешествия в Англию/Америку написаны разными авторами в разные годы, они во многом похожи друг на друга.

Д. Скотт, объясняя отличия американского травелога от европейского, указывает (со ссылками на Токвиля и Бодрийяра) на американский утопизм[13], а «utopias, like all fantasy or imaginary projections, are born precisely of the possibility of signs being separated from their objects in the real world, and explored on the level of ideas or concepts (утопии, как все проекты, существующие в воображении, построены именно на возможности отделить знаки от означаемых ими объектов реального мира и комбинировать их на уровне идей и концептов. – *пер. Е. П.*)»[14]. В советских травелогах Англия и в этом отношении много ближе Америке, чем Европе. Америка (Англия) – страна идей, свободно плавающих в пространстве, в отличие от Советского Союза, страны фиксированных значений[15]. Этим пользуется советский писатель. Описывая заокеанскую страну, он сопрягает свободно плавающие идеи и концепты, получая нужные ему значения. Текучие и непривычные американские (английские) впечатления советских путешественников подгоняются к привычным рамкам сознания и обретают в травелоге идеологическую однозначность.

Титаник. Город в океане

Грандиозность Америки начинается с грандиозности Атлантического океана. Океан и океанский лайнер – традиционный зачин писательского травелога. Тон задает Сергей Есенин: «Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся… (Простите, что у меня нет образа для сравнения: я хотел сказать – как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама – образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что проповедуемый мною и моими друзьями „имажинизм“ иссякаем)»[16].

Советский поэт ищет новый язык для новых реалий и нового континента. Точно так же, как Европа «перед Америкой» кажется «старинной усадьбой» (Е 118), привычные европейские образы не позволяют даже примерно передать американские атрибуты. «Образы без всякого подобия» заставляют повествователя все чаще умолкать и ставить многоточия. Пароход, океан и встающие из-за него громады небоскребов – и есть поэзия. Имажинист Есенин, едва покинув Старый свет, начинает походить на лефа.

Маяковский в стихотворении «Атлантический океан», не в пример Есенину, находит сравнения для океана – мифологического толка:

Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года[17].

В очерках «Мое открытие Америки» повествователь, прикрываясь привычным лефовским равнодушием, завершает мифологизацию Атлантики: «Океан – дело воображения. <…> только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, – только это воображение есть Атлантический океан» (М 7, 265). «Новый, второй свет» – это мифологический «тот свет», вторая Атлантида. Затем, сообщив о том, что спокойный океан невероятно скучен, путешественник рассказывает о «хорошо поставленном зрелище» (М 7, 265) на обратном пути: «Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, – и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч» (М 7, 266). Повествователь оказывается почти в центре мира,

наблюдая творение новой земли – нового света.

В стихотворении «Атлантический океан» «дело воображения» интерпретируется чуть иначе: каждый видит в океане свою мечту.

Волны
будоражить мастера:
детство выплеснут;
другому –
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать! (М 7, 13).

Творение нового мира неминуемо ассоциируется с революцией. Из глубин поднимается «воднячий Ревком» (М 7, 13), «гвардия капель» (М 7, 14) ведет революционные бои, а ими руководит «всеводный Цик» (М 7, 14). Океан оказывается («по шири», сравнения по другим признакам – «по делу, по крови, по духу» – риторического свойства) страшим братом «моей революции» (М 7, 16). Революционно переосмыслена и тема открытия Америки (стихотворение «Христофор Коломб») – это переоткрытие, открытие заново материка, преображенного революцией.

В романе Пильняка максимум внимания уделен пароходу, не менее грандиозному: «Сравнивать с уездным городом пароходы типа „Бремена“ нельзя, – это город уже губернский. Партер московского Большого театра меньше салона первого класса. Стамбульская Айя-София построена с меньшей роскошью, чем „Бремен“. И прочее»[18]. На пароходе «Бремен» Старый свет (Большой театр, Айя-София) движется по океанской глади в сторону Нового. Об океане у Пильняка сказано лаконично: «Океан был величествен. За ютом была Европа. Форштевень двигался к Америке» (П 14). При этом движение в сторону одной утопической страны неотрывно от размышления о другой, противоположной, ведь подлинный Новый свет – СССР.

Наконец, у Ильфа и Петрова пароход «Нормандия» настолько огромен, что его невозможно увидеть ни при посадке, ни при высадке на берег. Поезд въезжает прямо в здание морского вокзала, оттуда, пройдя через несколько залов, пассажир попадает прямо на пароход. Точно так же, по закрытым сходням, пассажиры спускаются по приезде в таможенный зал.

Зато Нью-Йорк виден издали. После грандиозности океана путешественник созерцает самый грандиозный город мира. «Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст – после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире»[19]. Грандиозность киноэффектно удвоена.

У Пильняка при виде Нью-Йорка пропадают слова, как у Есенина в океане: «Порт, Гудзон и Ист-ривер, задавленные небоскребами Манхэттэна и Бруклина, – грандиозны, ни с чем, ни с каким сном не сравнимы – ни с какою татлиновскою фантазией» (П 23). Если Пильняку кажется недостаточным гений Татлина, то Есенину – слова Маяковского: «Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?!» (Е 119).

Маяковский въезжает в Нью-Йорк на поезде. Вид из окна вагона мало чем отличается от вида с парохода. Город поражает поэта ожившим – из архитектурных фантазий футуристов – футуристическим пейзажем. «За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм воздушной железной дороги» (М 7, 298). Поезд может двигаться по воздуху, может уходить под землю. И, наконец, сам Нью-Йорк, его финальная точка – два крупнейших вокзала: Пенсильвания-стэйшен и Гранд-Централ. Я. Г. Дорфман, вперемешку перечисляя плюсы и минусы Нью-Йорка, замечает, что эти два вокзала – «величайшие вокзалы мира»[20]. Для Маяковского вокзалы и есть Нью-Йорк: «пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы – один из самых гордых видов мира» (М 7, 300). Это две фотографические открытки человеческой мощи, славящие современную цивилизацию.

Грандиозность – первое впечатление и собственно от города. «Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает» (Е 119–120). Характерно, что картины города вызывают у Есенина мифологические чувства: дым от фабричных труб напоминает огромные курильницы, установленные в грандиозном храме нового бога (у Ильфа и Петрова такими кадильницами – столбами дыма – становятся сами нью-йоркские небоскребы). В прозаическом травелоге Маяковского мифологическим началом будет ветер иного мира: «В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен <…> вдоль – от океана к Гудзону» (М 7, 300). Еще более мифо-

логизирован город в стихотворении «Бродвей»:

Одни дома
длиною до звезд,
другие –
длиной до луны (М 7, 55).

Этот город объединяет в себе стихии, причем надо всеми стихиями безраздельно господствует человек. Попадание в небесный мир или нисхождение в мир подземный каждый житель Нью-Йорка проделывает по несколько раз в день:

Хочешь под землю –
бери собвей,
на небо –
бери элевейтер (М 7, 56).

Нью-Йорк мифологически сродни океану, из которого он вырос:

В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов –
отлив (М 7, 55).

Мифологический пласт описания Нью-Йорка окончательно выходит наружу в книге Пильняка: «Для европейца Нью-Йорк с небоскребов скорее сон, чем явь, – и сон ни с чем не сравнимый, разве от детства осталось воспоминание фантазии, библейское воспоминание города Вавилона, которого никто не видел, и именно этой невиданностью Нью-Йорк похож на Вавилон. Нью-Йорк – нечеловечески грандиозный город <…>. С крыши Эмпайэра (иль от грифов Крайслер-былдинга) океан, Гудзон, Истривер, горы Нью-Джерси – ваши братья. <…> И рядом с вами равноправными братьями стоят в облаках, а иной раз и над облаками, братья-небоскребы» (П 91–92). Океан, реки и горы – братья небоскребов, а также повествователя с читателем, Гулливеров советской страны. Точно так же, как у Маяковского океан оказывался старшим братом «моей» революции.

Ильфу и Петрову остается только подытожить впечатления: «Совсем вблизи возвышались несколько небоскребов. Казалось, до них нетрудно дотянуться рукой» (ИП 32). А также символическая картина, поддерживающая мифологическое сравнение Маяковского: на улице установлен телескоп, но не для наблюдения за луной. В него смотрят «<…> не на луну, а гораздо выше» (ИП 23) – на вершину Импайр Стейт Билдинга. Темп жизни города – это особое наваждение капиталистического Вавилона: «Нью-Йорк не из тех городов, где люди движутся медленно. Мимо нас люди не шли, а бежали. И мы тоже побежали. С тех пор мы уже не могли остановиться. В Нью-Йорке мы прожили месяц подряд и все время куда-то мчались со всех ног» (ИП 22).

Та же грандиозность в английских очерках сопровождает прибытие в Лондон. Кушнер, задумавший дойти до места, где кончается город и начинается загород, потеряв целый день, вынужден вернуться домой. Лондон бесконечен: «То, что в середине (XIX. – *Е. П.*) века было Лондоном, то теперь является лишь центральным районом всей этой застроенной домами страны»[21]. Сравнительно малый размер Великобритании компенсирует размах Лондона, заместившего собой не одну страну. Лондон уже не стоит на земле, это громадная абстракция:

> Если вам скажут, что Лондон – столица величайшего империалистического государства, что это центр колониального порабощения большей части земного шара, крупнейший центр мировой торговли, величайший мировой порт – все это будет правильно. Но если кто-нибудь станет утверждать, что Лондон – главный город Англии, – не верьте.
>
> Лондон вовсе не город (К 150).

Краткое объективное отрицание второго абзаца отменяет все привычные утверждения, перечисленные в первом. И Лондон повисает в воздухе, становится футуристическим символом урбанизации, абсолютного Запада. Лондон, как сказал бы Маяковский, – «дело воображения».

Эренбургу, привычно отождествляющему города с книгами, столь же трудно найти определение Лондону, как Есенину или Маяковскому – Нью-Йорку.

> Кому неизвестно, что Венеция – сказка для влюбленных или для англо-саксов; что Вена – томик новелл, невзыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман <…>. Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы, который столь мощен, что к его дыханию прислушиваются и Париж, и Берлин, в котором и традиции, и монументы, и Макдональд, и золотые джунгли Сити, и который все же прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше семи миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший и в то же время самый неотвязный

изо всех литературных жанров, это не город, а притча[22].

Библейская притчевость Лондона коррелирует с мифологичностью Вавилона – Нью-Йорка. Все европейские города просты и понятны, имеют одно-единственное, редко два соединенных жанровых значения. Лондон на их фоне обладает многозначной однозначностью притчи. В нем существует весь мир, а его как бы не существует: «Лондон призрачен, вымышлен и неточен, как сон» (Э 341).

Все это вместе – и башни небоскребов, и башни Тауэра – зубцы короны Кощея Бессмертного. Призрачный иной мир, скрытый океаном и туманом. Неожиданно вырастая из океана, он не только утверждает свое могущество, но и напоминает о рано или поздно рассеивающемся мареве миража. Неслучайно американский миф начинается с дыма и ветра, а английский – с бесконечной продолжительности кошмарного сна. Кушнер символично гиперболизирует английский туман – под его чарами не видно соседнего дома, человек передвигается на ощупь. Грандиозность империалистического фасада окутана сказочной дымкой, она незыблема и призрачна одновременно.

Эллис-Айленд. Скрытая угроза

Путешественник, въезжая в заморскую страну, ощущает скрытую угрозу: «На пароходе, который перевозит вас с французского берега на английский, вы начинаете чувствовать какое-то странное беспокойство. В первый момент никак нельзя определить, откуда и почему появляется это чувство неловкости и неуверенности в себе и в окружающем»[23]. Это смутное чувство тревоги от неведомой страны долго будет сопровождать путешественника.

Кощей тоже опасается путешественника, въезжающего в его владения, ибо от советского человека тоже исходит скрытая угроза его царству. Европейца, считает Корнев, а в особенности советского европейца, в Англии третируют, как ребенка, от которого можно ждать любой выходки. Американский же Кощей применяет полицейские меры: «Пусть читатель знает, что девяносто девять процентов советских граждан, несмотря на визы, не спускаются сразу в Америке на берег, но арестовываются и отправляются на Эллис-айлэнд, в просторечии называемый Островом Слез, – в притаможенную тюрьму, где их, людей, судят американцы за право быть советским гражданином» (П 22). Пильняка, впрочем, не задержат, но два советских инженера (один из них едет с женой и ребенком), прибывших на том же пароходе, будут водворены на остров. Открытое пространство океана сменяется не открытым пространством американского материка, а закрытым тюремным пространством. Это – архетипическая ситуация «прибытия», как ее определяет Эрик Лид (Eric Leed), изучавший структуру литературы путешествий[24].

На границе путешественник подвергается «испытанию» – иммиграционному контролю. Есенина и Айседору Дункан оставят на борту парохода на сутки, а затем отправят на Эллис-Айленд для процедуры установления благонадежности. Маяковского подвергнут «комиссии» на мексиканской границе. «Политический экзамен»[25] оба советских поэта сдадут быстро и успешно, но экзамен этот очень серьезен: «Могут отослать обратно, но могут и посадить…» (Е 120). Согласно Травникову, попадание человека в легендарное пространство предельно опасно: «Проникновение земных людей в эти пределы запрещено, а попытка узнать непознаваемое карается высшими силами, вплоть до физической смерти»[26]. Ощущение опасности нагнетается рассказами о том, как заподозренные в неблагонадежности месяцами ждут решения судьбы[27]. Ту же функцию имеют и тексты, посвященные процедуре въезда-выезда из Америки, – например, рассказ Б. Кушнера «Эллис-Айленд – Остров Слез». В рассказе нет советских граждан, в центре сюжета – депортируемая в Финляндию Сильвия, страстно любящая заключенного уголовной тюрьмы, расположенной тут же, на острове. Но основу повествования составляет быт депортируемых/невпускаемых. Днем люди стонут от безделья, ожидая решения своей судьбы в общем зале, ночи они проводят в камерах – отдельно женщины, отдельно мужчины. По утрам полагается прогулка. Интерьеры эвакуационной тюрьмы как бы подчеркивают ненормальность происходящего: «Ряды неудобных деревянных скамей, расставленных как в церкви или в зрительном зале провинциального кино, исключали, казалось, всякую мысль о длительном пребывании в этом помещении»[28]. Из тюремных окон Эллис-Айленда небоскребы Манхэттена выглядят иначе, чем из океана: они пугают и давят, манят и отталкивают одновременно. «Узникам с острова открываются то многоглавые уступчатые вершины строительных исполинов, то неприступное тяжелое подножие, то все их тела в полном размахе и непостижимом великолепии геометрической красоты»[29]. Это ворота Кощеева царства, захлопнувшиеся перед путешественником.

Слуги Кощея комичны своей непонятностью – это антиподы: «Легендарное простран-

ство заполняют ирреальные герои и неведомые существа»[30]. Их костюмы кажутся заимствованными из голливудских гардеробов или сказочных снов: «На пристани острова их встретил сторож – молодой человек с наружностью кинематографического ковбоя и с большим автоматическим пистолетом у пояса»[31]. Есенину они напоминают иллюстрации к Гоголю: «Тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя» (Е 120–121). Или, как в сказке или голливудской комедии, может произойти преображение: «Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался иммиграционным полицейским» (М 7, 292).

Вопросы американских чиновников свидетельствуют о том, что путешественник попал в прошлое (тем более, что спрашивают по-русски). Но, обращенные к советскому гражданину, вопросы эти не имеют ответов. Путешественник оказывается в ситуации сказочного испытания: он либо откажется от советских убеждений, либо будет пожран Кощеем. И путешественник ведет себя, как сказочный Иван-дурак.

> – Мистер Есенин, – сказал господин. Я встал. – Подойдите к столу! – вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел. – Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.
>
> Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку:
>
> – В бога верите?
>
> Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:
>
> – Да (Е 121).

Глагол «ошалел» передает полнейшее замешательство советского поэта. Замешательство смещает все последующие ремарки: поэт «стал отвечать» еще до того, как ему был задан первый вопрос. Это подчеркнутая, доведенная до абсурда лояльность. И в то же время предельная наивность. Подыгрывая чиновнику, путешественник переводит неразрешимый трагизм ситуации в сферу комического. И в результате, выигрывает.

То же самое происходит с Маяковским. Вопросы американского чиновника кажутся вопросами старорежимного держиморды, пока не выясняется, что чиновник знает лишь несколько русских слов. Глагол «опешил» почти повторяет есенинское «ошалел»:

> Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда.
>
> Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:
>
> – Ты – жид?
>
> Я опешил.
>
> В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов.
>
> Помучился и минут через десять выпалил:
>
> – Великороссь?
>
> – Великоросс, великоросс, – обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений (М 7, 291–292).

Вопрос о Боге, как и вопрос о национальности, одинаково неуместны с точки зрения советского гражданина. Они не имеют никакого значения. Как и длинные анкеты, которые приходится заполнять: «Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!» (М 7, 293). Советский путешественник привык к другим вопросам: о классовом происхождении или о том, где он провел ночь с 25 на 26 октября. Столь же бессмысленна клятва, которой заканчивается испытание: «Именем господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия» (Е 121). Просторечная форма «обещаюсь» вновь напоминает о позиции Ивана-дурака: искренность, доведенная до наивности. Вслед за ней семантическое смещение: «говорить чистую правду» (зачин присяги) и «не делать никому зла» (собственно присяга) стоят рядом, скрепленные соединительным союзом, как имеющие равное отношение к «обещаюсь». Наконец, в следующем предложении – политическая суть присяги, повторенная в новом абзаце уже без наивности: «Взяли с меня подписку не петь „Интернационала“, как это сделал я в Берлине» (Е 121).

Маяковскому помогает сказочный «помощник». Переводчик, на поиски которого отправляются иммиграционные служащие, оказывается владельцем мебельного магазина, влиятельным лицом в городе. Он очень рад случаю поговорить по-русски – это «услуга», оказанная ему путешественником. Выручая соотечественника, он предлагает исчерпывающий комментарий к наигранно-робкой позе Ивана-дурака:

> – Мне надо клясться, – робко заикнулся я, чтобы начать разговор.
>
> Переводчик равнодушно махнул рукой:
>
> – Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.
>
> Взгляд резонный (М 7, 293).

Получив разрешение на въезд (Есенин дал подписку не петь «Интернационал», а Маяковский внес залог в 500 долларов), путешественник сворачивает сюжет Эллис-Айленда. Попадая за ворота Кощеева царства, он забывает о мытарствах на входе. В травелоге Ильфа и Петрова Эллис-Айленд вообще останется незамеченным (угроза сохранится лишь намеком в письме Е. Петрова домой – ИП, 427): дело в том, что Ильф и Петров въезжают в Америку уже после установления дипломатических отношений между СССР и США. Но как бы то ни было, грандиозность первого впечатления от Америки смазывается мелкостью ее чиновников. По свидетельству близкой Айседоре Дункан Мери Дести, Есенин подготовил заявление, которое собирался произнести по приезде в США: «Мы прибыли в Америку с одной лишь мыслью – рассказать о сознании России и работать для сближения двух великих стран. <…> Прежде всего хотим подчеркнуть тот факт, что сейчас в мире есть только две великих страны – Россия и Америка. <…> Во время путешествия сюда мы пересекли всю Европу. В Берлине, Риме, Париже и Лондоне мы не нашли ничего, кроме музеев, смерти и разочарования. Америка – наша последняя, но великая надежда!»[32]. Вместо этого громкого текста прозвучала шутка разочарованного поэта, обращенная к статуе Свободы: «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» (Е 120).

Матрица. Небоскреб в разрезе

Собственно Америка начинается в травелогах с Нью-Йорка, Нью-Йорк – с прогулки по Бродвею. Бродвей – главный фокус Кощеева царства, картина преображенного электричеством города будущего. Неслучайно Есенину за огнями Бродвея видится Невский, такими когда-нибудь станут все города мира: «Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное» (Е 123). С другой стороны, эпитет «головокружительное» делает Бродвей чем-то вроде аттракциона: ночью на этой улице светлее, чем днем. М. Балина, пишущая о свойственном советскому путевому очерку «феномене постоянной оговорки-извинения за мимолетный восторг»[33], в данном случае, кажется, не совсем права. Ощущение аттракциона, снижающее восторг, присутствует в тех самых лексемах, при помощи которых восторг передается. Восторг и оговорка подаются в коктейле, неотделимо друг от друга. Советский путешественник любит технику, но видит за ней руку Кощея. Афоризм, сочиненный Маяковским, открывает эту подоплеку:

У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока (М 7, 57).

Дав подписку не петь «Интернационал», путешественник держит наготове единственное оставленное ему оружие – свой советский скепсис. Искусственность бродвейского чуда видят все советские путешественники. Убавив восхищение, Есенин оговаривается, что электрическая энергия пущена исключительно на рекламу. Кроме того: «Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов» (Е 126). Маяковский добавляет к описанию Бродвея традиционный для капиталистического города контраст. Тут работают уже не переносные значения слов, а прямые, «всамделишные»:

«Бумага и гниль валяются по щиколку – не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея» (М 7, 305).

Ильф и Петров объединят оба критических мотива. Во-первых, свет Бродвея освещает (рядом с джентльменами в цилиндрах и дамами в вечерних платьях) нищего, играющего на саксофоне, и слепого с собакой-поводырем. Во-вторых, яркий свет используется предельно бессмысленно: «Здесь электричество низведено (или поднято, если хотите) до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва» (ИП 24).

Те фокусы Кощея, которые путешественники в Америку наблюдают на Бродвее, путешественники в Англию видят на вечерней Пикадилли. «В июньский вечер Пикадилли-Серкус кажется не городской площадью, но проповедью нового Савонаролы или, если угодно, очередной постановкой советского режиссера. Из театров, кино, ресторанов, клубов выходят леди в длинных бальных платьях с голыми, напудренными густо спинами. На джентльменах фраки и цилиндры. <…> Среди леди и джентльменов снуют босяки в лохмотьях; они дуют в дудочки, открывают дверцы автомобилей, предлагают спички – это вечерняя мошкара, налетающая на прославленный свет Пикадилли. Это также беглая справка о пособьях безработным» (Э 334–335)[34].

Для того чтобы показать «город контрастов» в европейском очерке, путешественник шел сначала в район богатых, затем в район бедняков. В Англии и США жизненные контрасты пода-

ются рядом, роскошь и трущобы соседствуют: «Мы знали, что в Чикаго есть трущобы, что там не может не быть трущоб, – пишут Ильф и Петров. – Но что они находятся в самом центре города – это была полнейшая неожиданность. Походило на то, что Мичиган-авеню лишь декорация города и достаточно ее поднять, чтобы увидеть настоящий город» (ИП 149–150). Город богатых непосредственно вырастает из трущоб декорацией американской мечты. Это замок феодала, возвышающийся над посадом смердов. Мираж для легковерных бедняков.

Традиционное деление капиталистического города на город бедных и город богатых перенесено из горизонтальной плоскости в вертикальную. Именно так подает Пильняк контрастность Нью-Йорка. Такова же логика стихотворения Маяковского «Небоскреб в разрезе». Европейская шкала богатства перевернута Америкой: чем выше живет человек, тем он состоятельней. С вершин небоскребов Нью-Йорк прекрасен и просторен. Но если спуститься вниз: «Город оглушен грохотом. Город дышит не воздухом, но бензином. Город обманут проститучьей красотой электрических реклам. Улицы завалены мусором, без единого листочка. <…> Взбесившийся город, полезший сам на себя железом, бетоном, камнем и сталью, сам себя задавивший» (П 92). Окончательно преодолев восторг, путешественник ополчается на страну техники с экологической точки зрения. Используя идущее из XIX в. (руссоистское) представление о том, что близость природе – благо, а удаление от нее – гибель, Пильняк сообщает, что не мог спать в Нью-Йорке из-за чудовищного городского шума, не прекращающегося по ночам: «Я просыпался ночами и слышал, как воет радио, как за стеной сопит рефрижератор, вырабатывая лед, как свистит по нашим этажам рабочий элевейтор (лифт), развозя по этажам все нужное и развозимое по ночам для уездного города нашего дома. Дом вздрагивал от пролетавшей мимо воздушной железной дороги» (П 50). Тут же прочерчивается антитеза: приятель Пильняка Джо Фриман в Нью-Йорке спит спокойно, но, выехав за город, не может спать из-за тишины.

На вершинах небоскребов, в замке, где живут миллионеры, все не так. Пильняк рассказывает, как он был приглашен в гости к «бедному миллионеру» (не миллиардеру) – на крышу его собственного тридцатиэтажного небоскреба, усаженную пальмами. Туда не доносится городской шум. Миллионер воистину небожитель: он живет на собственном Олимпе. При этом миллионер хорошо знает, кому принадлежат другие небоскребы, но ничего не может сказать о владельце соседнего дома обычной величины. Низовой Нью-Йорк его не интересует. «Мне все стало понятным, – подытоживает писатель. – В Нью-Йорке есть сорок-пятьдесят человек, подпертых небоскребами в рост Нью-Йорка, для которых Нью-Йорк прекрасен, – эти люди называются миллиардерами, сиречь капиталистами» (П 95). Огромный Нью-Йорк – город для пятидесяти человек.

Маяковский рассказывает об Уолл-стрит, крохотной улочке, правящей страной и всем миром. Это «столица американских долларов» (М 7, 334). Похожие сентенции приходят на ум путешественнику и в Лондоне: «Кто-то… подсчитал, что люди, живущие в Лондоне, в параллелограмме между Гайд-парком, Пикадилли, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит – владеют имуществом полмира!»[35]. Для этих десятков людей, собственно, и существуют, по логике советского путешественника, Лондон и Нью-Йорк. Остальным жителям эти города не принадлежат. Натяжка очевидна: пятьдесят человек не могут создавать жизнь мегаполиса. Намного точнее другое выражение Пильняка: он пишет о «долларовом заборе», пробравшись за который человек может позволить себе человеческую жизнь.

Доллар – организующее начало американской жизни. Пильняк называет доллар «самым главным американским ницшеанцем» (П 97). Слово «ницшеанец», по-видимому, употреблено функционально – в качестве абсолютной отрицательной характеристики[36]. Иными словами, доллар и есть Кощей. Он так же пуст и мертв, он так же всесилен. Над златом чахнет не только Америка – мировой кредитор, но и каждый американец. И тот, который вскарабкался на забор, и тот, который мечтает туда вскарабкаться. Доллар заменяет американцам все жизненные интересы, ибо американцы верят: каждый может стать богатым. А с долларом нет ничего невозможного. Белый дом, рассказывает Пильняк, – промышленно-капиталистическое предприятие, политические партии США – политические тресты. «Бог – доллар, доллар – отец, доллар – дух святой» (М 7, 313), – пишет Маяковский. Не без интереса сообщает он о миллионере, удочерившем шестнадцатилетнюю (так как жениться на 16-летней нельзя) и заткнувшем рот газетам теми же долларами. Не без удовольствия примеряет костюм мистера Маяковского – владельца конторы в шесть комнат. В стихотворении «Небоскреб в разрезе» каждый житель Нью-Йорка занят исключительно долларом. На каждом этаже располагается определенный стандарт благополучия, с мыслями и желаниями, которые советский поэт легко может угадать. Так «выветривается» из человека человек, так иссушается жизнь, остается один дух Кощея. Н.

Осинский подтверждает в качестве эксперта: «Скучна и скверна была жизнь в дореволюционных городах России; но скука **этой** (выделено автором. – *Е. П.*) жизни – совсем исключительная. И надо сказать, что долго жить в Америке (даже в больших городах), и в особенности человеку, приехавшему из страны социализма и советов, – поистине ужасно. Американская жизнь для огромной массы людей вертится только вокруг собирания денег, обеспечения себя долларами, дабы создать или укрепить благосостояние свое или своей семьи»[37].

> Основная позиция Маяковского состоит в том, что вещи в Америке хороши, а деньги плохи и люди испорчены деньгами, – пишет А. Эткинд, по сути, обо всех советских путешественниках. – Он как будто не понимает, что хорошие вещи типа Бруклинского моста или надежного «форда» созданы благодаря хорошей системе обращения денег. Манхэттенские небоскребы построены людьми, привыкшими жить в условиях политической демократии, экономической конкуренции, личной свободы, протестантской или иудейской этики. Могли ли бы они быть изобретены… без воспроизведения самих этих условий? То был главный вопрос века. <…> Достойно изумления, что он не заботил русских критиков американской современности, в остальном людей осведомленных и проницательных[38].

Эткинд абсолютно прав с точки зрения ортодоксального марксизма, но он «как будто не понимает», что Маяковский и его коллеги создают не политико-экономический трактат, даже не публицистическую статью, а художественный текст, посвященный капиталистическому миру. Вещь как таковая, а в особенности вещь грандиозная и уникальная, которая, по Есенину, «сама образ», наподобие небоскребов или Бруклинского моста, в советском травелоге изначально мифологизирована, а следовательно, выведена из цепочки причинно-следственных отношений. Она превращается в сказочный «волшебный предмет», которым буржуазия владеет не по праву. Только в этой сфере значений можно понять целый ряд высказываний советских путешественников. Например, странную фразу Есенина, брошенную походя на Бродвее: «Эта улица тоже ведь наша» (Е 123). Характерен и пассаж Маяковского по поводу прирученного в Америке электричества. Буржуазия, сообщает поэт, ест в ресторанах при свечах:

> Эти свечи меня смешат.
>
> Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.
>
> Она неосознанно боится своего электричества.
>
> Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться (М 7, 310).

Обитатели небоскребов недостойны небоскребов. За грандиозным фасадом копошится «дооктябрьский Елец аль Конотоп» (М 7, 66). Не тот знаменитый Конотоп, в котором сложил голову Хулио Хуренито, а затхлый городишко Российской империи. Выстроенный долларом небоскреб все более превращается в мираж. Он неслучайно вырос рядом с трущобами. По своей внутренней сути небоскреб – та же трущоба, набитая людьми. Интересно, что при движении вглубь страны небоскребы растворяются в воздухе, а Конотоп остается. Например, спец Александр Храмов едет по железной дороге из Филадельфии в район добычи антрацита: «Уж город остался далеко позади. Исчезли за горизонтом последние небоскребы и трубы бесконечных филадельфийских заводов, а вместе с ними **как-будто провалилась сквозь землю** (выделено мною. – *Е. П.*) и вся показная американская культура. Еще полчаса тому назад – собвеи, воздушные дороги… кричащие рекламы, бесконечные вереницы автомобилей, а сейчас – тишина, покрытые лесом холмы, лоскутки зеленеющих полей – глубокая, вся во сне и покое, провинция. <…> Широкие, немощеные улицы, покосившиеся набок жилища, резвящиеся в клубах пыли детишки и бегающие, ошалелые от жары и безделья, собаки. Совсем походит на нашу русскую или польскую провинцию…»[39].

Окончательно убедившись в том, что выстроенные на океанском берегу небоскребы – иллюзия, путешественник ищет подлинную Америку в глубине материка. Подражая американцу, он садится в автомобиль. В английском сюжете (у Кушнера) путешественник на машине проезжает несколько графств. Автомобильное путешествие, замечает Д. Скотт, «becomes an essential mode of American utopianism for which space and time exist purely to measure and facilitate (становится важнейшей формой американского утопизма, поскольку пространство и время существуют в нем только для того, чтобы измерять их и преодолевать. – *пер. Е. П.*)»[40]. Поэтому утопия продолжается и на твердой земле, вдали от океана. Кощей везде создал декорации-миражи.

Кушнер пишет, что английские шоссейные дороги изумительны: они лучше, чем где-либо в Европе. То же самое повторяют путешественники об автомобильных дорогах Соединенных Штатов. Н. Осинский уточнял, что дороги улучшились в 1930-е гг., и «сейчас они бесспорно

лучшие в мире»[41]. Но именно этот факт в романе Пильняка и мешает поискам подлинной Америки. Сказываются шпенглерианские представления о том, что цивилизация убивает культуру: «Дороги приняли нас в свой конвейер, когда надо было ощущать, что мы едем не по пространству, но по стандарту, ибо от океана до океана, повсюду, кроме природы, ничего не менялось. Всюду был один и тот же бензин, одни и те же завтраки и обеды, одни и те же отели. Менялись лишь пейзажи да климатические особливости. Но они не видны были из-за дорог, защищенные конвейером движения» (П 162). Доллар (или созданный им автомобиль) стандартизирует пространство и тем пространство пожирает. Громадный американский континент, как и небоскреб, становится иллюзией: на нем нет ничего, кроме дорог, отелей и бензиновых станций. Советскому путешественнику кажется, что он никуда не перемещается, а вокруг него прокручивается одна и та же декорация.

Ильф и Петров сравнивают Америку с океаном: «Автомобильная поездка по Америке похожа на путешествие через океан, однообразный и величественный. Когда ни выйдешь на палубу, утром ли, вечером ли, в шторм или в штиль, в понедельник или в четверг, – всегда вокруг будет вода, которой нет ни конца, ни края. Когда ни выглянешь из окна автомобиля, всегда будет прекрасная гладкая дорога с газолиновыми (писатели называют бензин на американский манер. – *Е. П.*) станциями, туристскими домиками и рекламными плакатами по сторонам. Все это видел уже вчера и позавчера и знаешь, что увидишь то же самое завтра и послезавтра» (ИП 101). Как нереально поднялись из океана небоскребы, так же нереален весь это континент. Америка – не огромный ли мираж в океане?

Точно так же, как нельзя по Нью-Йорку медленно идти, по Америке нельзя медленно ехать: путешественника подгоняют тысячи машин. «И все они гонят во весь дух, **в сатанинском порыве** (выделено мною. – *Е. П.*) увлекая вас с собой. Вся Америка мчится куда-то, и остановки, как видно, уже не будет» (ИП 87). Постоянный бег по Нью-Йорку осмыслялся как наваждение, теперь источник наваждения ясен. Все чаще американские впечатления советских писателей оформляют гоголевские реминисценции. Бесконечное мнимое движение, как в «Ревизоре», не позволяет разобраться во впечатлениях, отличить правду от лжи. Движение ускоряется, и все больше закрадывается сомнение: а не навеяна ли Америка океанским штормом? Может быть, Ильф и Петров вообще не сходили с корабля? «Среди миллионов автомобилей и мы пролетели от океана до океана – песчинка, гонимая бензиновой бурей, уже столько лет бушующей над Америкой!» (ИП 87). В бурю превратился «авантюристичный ветер», который в очерках Маяковского летал над Манхеттеном. Этот ветер заполняет машину и одурманивает путешественника музыкой странствий: «Машина наполняется шумом и ветром, в котором дремлющие в своих креслах пассажиры слышат великую мелодию американского материка» (ИП 93).

С одной стороны, путешественнику кажется, что декорация провинции вращается вокруг него, с другой стороны, он ощущает себя песчинкой, подброшенной мифологическим американским ветром. Он один из тысяч, едущих по дорогам. В Нью-Йорке он заполнял одну из клеточек небоскреба, теперь он заполняет одну из движущихся раковин Форда. И вновь стандарт растворяет человека, «выветривает» его. Конвейер, с которым советский писатель, как правило, знакомится на автомобильных заводах Америки, выходит на просторы материка и затягивает путешественника. Провинция так же стандартизирована долларом, как и город: «Когда закрываешь глаза и пытаешься воскресить в памяти страну, в которой пробыл четыре месяца, – представляешь себе не Вашингтон… не Нью-Йорк… не Сан-Франциско… не горы, не заводы, не кэньоны, а скрещение двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов» (ИП 93). Это сказочное распутье с полагающейся надписью на рекламном щите, но преображенное долларом-Кощеем: в центре картины – газолиновая станция. Это природа, обработанная цивилизацией. Такие открытки сельской Америки несколько раз появляются на страницах Ильфа и Петрова. Это домик-отель посреди пустыни на реке Литтл-Колорадо или павильоны с современными лифтами при входе в Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико: «Это был электрический, громкоговорящий, ультрасовременный кусочек пустыни» (ИП 357).

Но урбанизация пространств вовсе не означает, что люди вокруг бензоколонки живут хорошо. Советский путешественник измеряет цивилизованность страны не техническими новинками, а социальными преобразованиями. Даже величие Бруклинского моста, символа американского гения, подвергнуто сомнению в стихотворении Маяковского «Кемп „Нит гедайге“»:

Мы
ничьей башки
мостами не морочим.
Что такое мост?
Приспособленье для простуд.

Тоже…
без домов
не проживете очень
на одном
таком
возвышенном мосту (М 7, 89–90).

Одинокая бензоколонка Ильфа и Петрова стоит посреди американского пейзажа, как Бруклинский мост у Маяковского висит посреди мира. Ни то, ни другое чудо не позволяют считать Америку цивилизованной страной. Отель посреди пустыни для Ильфа и Петрова – не столько удобство капиталистического быта, сколько свидетельство его контрастности: «Если вы спросите, что можно назвать главной особенностью Соединенных Штатов Америки, мы можем ответить: вот этот домик в пустыне. В этом домике заключена вся американская жизнь: полный комфорт в пустыне рядом с нищими шалашами индейцев. Совсем, как в Чикаго, где рядом с Мичиган-авеню помещается свалка. Куда бы вы ни ушли, путешественник… вы всюду увидите комфорт и бедность, нищету и богатство, которые, как две неразлучные сестры, стоят, взявшись за руки, у всех дорог и у всех мостов великой страны» (ИП 238–239). С Бруклинского моста бросаются вниз безработные. Безработные и нищие, ездящие на автомобилях по сельской Америке, отдают последние деньги за бензин. Дорожная инфрастуктура столь же призрачно-бесчеловечна, как и городские небоскребы.

Еще более урбанизирован английский пейзаж. Путешественнику кажется, что в Англии вообще нет деревень: «Постепенно складывается убеждение, что весь этот юго-восточный угол Ланкашира, между Чеширом и Йоркширом, представляет из себя не что иное, как один сплошной промышленный город. И это правильно, по крайней мере, в том смысле, что на всем протяжении этой страны нельзя нигде встретить ничего негородского, сельского» (К 243). Английский пейзаж еще более бесчеловечен. Например, ландшафт между Шеффилдом и Бредфордом создают холмы из каменноугольных отбросов. Дорог в привычном (сельском) смысле в Англии тоже нет. Все они асфальтированы, все они причудливо разветвлены: «Представление о длинной, ведущей куда-то, дороге совершенно распадается. Здесь нет дорог. Есть только отдельные части сложной дорожной сети» (К 244). Для завершения развернутой метафоры Кушнер сравнивает отдельные участки дорог с городскими улицами, упирающимися в другие улицы, и так до бесконечности. Весь сельский пейзаж к тому же покрыт плотным ланкаширским туманом, так что ощущение миража вдвойне реально.

Путешественника не оставляет чувство рукотворно-нереального пейзажа, Кощеевой шутки. Чувство это добавляют рекламные щиты, вездесущие, надоедливые. Стоит только облегченно заметить, что рекламы пропали, как из-за поворота появляются новые. Рекламные щиты стоят вдоль всей железной дороги, по которой Пильняк едет из Нью-Йорка в Калифорнию. Рекламным щитом кажется Ильфу и Петрову Ниагарский водопад[42]. Вода, падающая с высоты небоскреба, вводится в сферу идеологем, связанных с небоскребом. Поглощенные темой американских реклам (подробно обсуждаемой по дороге на водопад), писатели раздумывают, скоро ли всю эту воду разольют по бутылочкам и продадут в качестве полезного для здоровья напитка. Иные эмоции захлестнут путешественников, когда, подготовленные американской пустыней, они увидят неземные, космические пейзажи: «Зрелище Грэнд-кэньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на землю. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре» (ИП 230).

Америка становится иной реальностью, подлинно другим миром. Материальные предметы, объясняет С. Н. Травников, обретают в легендарном мире особое чудесное значение[43]. Чем дальше продвигается автомобиль Ильфа и Петрова, тем настойчивее возвращается ощущение чудесного: «Еще два-три поворота, и пустыня исчезла. Внезапно мы попали в чудный курортный Тироль, в Швейцарию, на Кавказ. Это было возвращение междупланетных путешественников с Марса на Землю, в один из ее красивейших уголков» (ИП 247). Но и это видение быстро исчезает. Путешественники обсуждают оптическую сторону чуда. Гранд-каньон они осматривали сверху, теперь едут по дну Зайон-каньона: «Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений» (ИП 251). И наконец: «Сегодня в один день, вернее, даже за несколько часов перед нами прошли все четыре времени года» (ИП 252).

Вместо электрифицированных пустынь – прекрасные пейзажи царства Черномора. Они напоминают о подлинной Америке детских грез, о настоящих антиподах – индейцах[44], но больше кажутся гигантскими декорациями Кощея, наподобие Нью-Йорка. Они слишком прекрасны, сделаны, не реальны. Недаром строящийся висячий мост над заливом Сан-Франциско (символическое продолжение Бруклинского

моста) Ильф и Петров считают явлением одного порядка с Гранд-каньоном. Все это рекламные открытки главного буржуазного государства. В группу рекламных объектов Ильф и Петров помещают Импайр Стейт Билдинг, Ниагарский водопад, фордовский завод и электростанцию Боулдер-дам. Парадоксальное обобщение советских сатириков возвращает нас к мысли о ненастоящем, сделанном Бродвее. Вот и ответ А. Эткинду, уличившему Маяковского в непоследовательности: Америка вся ненастоящая. Настоящие вещи творит только пролетариат. В стихотворном цикле Маяковского Бруклинскому мосту противопоставлен другой мост:

Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною –
во сто лет (М 7, 89).

В травелоге Б. Пильняка функцию неземных видений выполняют Ниагарский водопад и кактусовая пустыня под горами Сиерра-Невада. Пустыня напоминает о том, что Америки нет. Сквозь дымку путешественник видит реальность – океанское дно: «Кактусовая пустыня… в отчаяннейшем зное солнца, в желтом песке, никак не походила на реальную природу, но рисовала в фантазии мертвое морское дно» (П 163). Кощей покажет Пильняку и другую Америку. Похоже, видения каждого писателя, как на Соляристе, зависят от его подсознания. Эта Америка странно похожа на Советский Союз: «Мятель – как у нас. Пенсильванские – Аллеганские – горы – вроде Валдайских. Когда глаз прорывался за рекламу (рекламные щиты вдоль всей дороги. – *Е. П.*), располагались за шпалами тверские земли» (П 114). «За Чикаго поезд пошел в прерии, застрявшие в памяти от юношеских романов и географий. По эс-эс-эсеровским пейзажам прерии – это Украина» (П 115). «Поезд залез в горы, которые называются не то Скалистыми, не то Сиерра-Невада, – во всяком случае прошел и те, и другие. И пейзаж за окном вагона стал точь-в-точь таков же, как в Средней Азии, – особенно в пустыне штата Аризона» (П 116).

В сознании Пильняка срабатывает типологическое сходство СССР и США, стран-континентов, стран-утопий[45]. Пользуясь непроизнесенными словами Есенина, «сейчас в мире есть только две великих страны – Россия и Америка». Прочитывается в этом последовательном сопоставлении и тезис классовой географии: везде люди живут, везде одна земля. Даже Лос-Анджелесу (при помощи перевода) Пильняк найдет советский эквивалент: «Приехали в Лос-Анжелес – в Архангельск, если перевести по-русски» (П 118).

Америка похожа на СССР, но не совсем. Северный Архангельск оказывается на юге. В легендарном пространстве, объясняет Травников, «привычный пейзаж выступает в нарочито деформированном виде»[46]. Америка – перевернутый мир, зеркальное отражение мира настоящего. Страна-мираж.

(Окончание в следующем номере)

Примечания

[1] Троцкий Л. Европа и Америка. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. С. 15.

[2] Дорфман Я. Г. В стране рекордных чисел: очерки Америки. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 5–6.

[3] В первом издании «Визы времени» (1931) английских очерков еще не было. Английские очерки Эренбурга вышли и отдельным изданием: Эренбург И. Англия: очерки. М.: Федерация, 1931.

[4] Троцкий Л. Европа и Америка. С. 75.

[5] См., например: «План этот выражается в том, что Соедин[енные] Штаты ссужают Германию капиталами, но зато ставят все ее народное хозяйство под американский контроль» (Виленский-Сибиряков Вл. Америка на мировой арене // Новый мир. 1927. № 8. С. 187).

[6] Танин М. Франция и Америка // Крас. новь. 1925. № 3. С. 228–239.

[7] Scott D. Semiologies of travel: from Gautier to Baudrillard. Cambridge; New York: Cambridge Univ. Press, 2004. Utopias and dystopias: back in the US. Back in the USSR – Gide, Baudrillard, Disneyland. P. 110–208.

[8] Троцкий Л. Моя жизнь: опыт автобиогр. М.: Панорама, 1991. С. 270.

[9] Эткинд А. Толкование путешествий: Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: Новое лит. обозрение, 2001. С. 147.

[10] Травников С. Н. Путевые записки Петровского времени: проблема историзма: учеб. пособ. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1987. С. 83–84.

[11] «Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры» (Горький М. Город Желтого Дьявола // Полн. собр. соч. худож. произведений: в 25 т. М.: Наука, 1970. Т. 6. С. 241–242).

[12] Например, не получивший визу в США Лев Никулин находит для своих заметок об американцах в Европе эпиграф из Н. В. Гоголя: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» (РГАЛИ. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 28).

[13] Scott D. Op. cit. P. 121.

[14] Ibid. P. 111.

[15] Ibid. P. 114.

[16] Есенин С. А. Железный Миргород // Собр. соч.: в 3 т. М.: Правда, 1970. С. 118. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: Е с указанием страницы.

[17] Маяковский В. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 7. С. 12. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: М с указанием тома и страницы.

[18] Пильняк Б. О'кэй: американский роман. М.: Федерация, 1933. С. 8. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: П с указанием страницы.

[19] Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. Письма из Америки. М.: Текст, 2003. С. 19. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: ИП с указанием страницы.

[20] Дорфман Я. Г. Указ. соч. С. 58.

[21] Кушнер Б. Сто три дня на Западе. 1924–1926 гг. М.; Л.: Госиздат, 1928. С. 156. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: К с указанием страницы.

[22] Эренбург И. Виза времени. 2-е изд., доп. Л.: Изд-во писателей в Л-де, [1933]. С. 333. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте: Э с указанием страницы.

[23] Корнев Н. По Европе: (путевые очерки). Англия // Крас. новь. 1936. № 4. С. 184.

[24] Leed E. J. The Mind of the traveler: from Gilgamesh to global tourism. New York: Basic Books, a Div. of Harper Collins publishers, [1991]. P. 85.

[25] Вопросно-ответную форму проверки («examination»), которую устраивают путешественнику по прибытии в новое место, Э. Лид связывает с мифологическим архетипом (Ibid. P. 105–106).

[26] Травников С. Н. Указ соч. С. 84.

[27] Например, С. М. Эйзенштейн вспоминал, что ждал разрешения на въезд в США на мексиканской границе в течение шести недель (Эйзенштейн С. М. Автобиографические записки // Избр. произведения: в 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 1. С. 360). А Лев Никулин, намеревавшийся, как Маяковский, из Парижа отправиться в США, так и не получил американскую визу.

[28] Кушнер Б. Эллис-Айленд – Остров Слез // Крас. новь. 1934. № 2. С. 61.

[29] Там же. С. 64.

[30] Травников С. Н. Указ. соч. С. 84.

[31] Кушнер Б. Указ. соч. С. 61.

[32] Дункан А. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин: воспоминания. Дести М. Нерассказанная история. М.: Политиздат, 1992. С. 274.

[33] Балина М. Литература путешествий // Соцреалистический канон / [под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко]. СПб.: Акад. проект, 2000. С. 905.

[34] Ср. в травелоге Н. Никитина: «То, что удобно для Константинополя, то стыдно Лондону, стыдно этой богатой стране выпускать на улицу – калек, старух, стариков, инвалидов. А они на каждом шагу» (Никитин Ник. Сейчас на Западе: Берлин–Рур–Лондон. Л.; М.: Петроград, 1924. С. 79).

[35] Крымов Вл. Сегодня (Лондон–Берлин–Париж). Л.: Жизнь искусства, [1925]. С. 39.

[36] Впрочем, некоторое объяснение логики Пильняка можно найти в одной из европейских статей И. Эренбурга («Обыкновенная история», 1934): «Трудно сказать, у кого заимствовали свою мораль представители господствующего класса. Они, пожалуй, сошлются на Ницше» (Эренбург И. Затянувшаяся развязка. [М.]: Совет. писатель, 1934. С. 118).

[37] Осинский Н. По ту сторону океана: из амер. впечатлений и наблюдений. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 66.

[38] Эткинд А. Указ. соч. С. 154.

[39] Храмов А. По шахтам и заводам Пенсильвании // Крас. новь. 1928. № 2. С. 164.

[40] Scott D. Op. cit. P. 124.

[41] Осинский Н. Виденное и слышанное в США. [М.]: ЦУНХУ Госплана СССР: Союзторгучет, 1935. С. 7.

[42] В сочинениях «спецов» иная тенденция. Например, инженер Кузьмин, проходивший практику в Милуоки, на одной и той же странице описывает панораму завода Смита (восторженно) и Ниагарский водопад (куда менее эмоционально) (Кузьмин, Куксо, Панков. Трое в Мильвоки // Крас. новь. 1933. № 2. С. 103).

[43] Травников С. Н. Указ соч. С. 85.

[44] Для Ильфа и Петрова краснокожие индейцы – порождение американских красных скал, природное явление того же порядка: «Красота индейской кожи совершенно особенная. Это цвет их пористых скал, цвет их осенней природы. У них сама природа краснокожая» (ИП 199); «Мы уже не удивлялись тому, что природа предвосхитила индейскую архитектуру, индейские рисунки и даже самого индейца» (ИП 253).

[45] Сходство Америки с Россией видят и другие путешественники: «Мелькнула американская Волга – Миссисипи» (М 7, 297); «Последние мили, отделяющие нас от Луизианы, мы ехали лесами. Выглянуло солнце. Было тепло и радостно, как весной на Украине» (ИП 378).

[46] Травников С. Н. Указ соч. С. 84.